

## Ариадна Радосаф

### Фреска

#### Рассказ

Облако расплавилось в раскаленной, сгустившейся синеве, потекло полупрозрачными медузами и расплзлось в разные стороны, будто норovia выбраться за край неба, в сизоватую дымку, подменившую собой горизонт. Белые тельца плыли, сжимались и распрямлялись, казались пушистыми грибами, растущими в разные стороны, и растворялись в соленом небе и высоком лучезарном море — граница между воздухом и водой давно стерлась. Все было единым, влажно и шумно пульсирующим организмом, и земная твердь из последних сил противостояла смешавшимся стихиям, выбросив в воду две полукруглых косы, поросших травой и кустарниками.

Я смотрел вниз с обрыва, туда, где кончался обманчивый покой бирюзовых далей. Там бросались на скалы наконец добежавшие до них голодные волны, яростные и жадные, как стая хищников. Когда-нибудь они разорвут и меня. Я стоял и заново вспоминал все, начиная с безмятежного, тихого детства...

Когда-нибудь, но не сегодня...

Дом стоял на берегу, мимо бежала дорога в гору, за которой пряталась маленькая деревенька, — путь к ней преграждали островерхие холмы, прозванные в народе Рогами Дьявола. Дорога по какой-то остроумной прихоти проходила прямо между ними, несмотря на то, что местные считали дурной приметой проходить здесь и огибали один из холмов извилистой, незаметной тропой. Ароматы донника и чабреца, разогретых на солнце камней и крымского можжевельника витали в воздухе, сливаясь с запахами соли и йода, которыми тянуло с моря.

Когда-то мы жили здесь с матерью и отцом. Дом висел над селом, и ночью над ним вставала черная пустота, из которой сыпались падающие звезды. Справа виднелась гора Слон — после полуночи ее любила оседлать Большая Медведица, чтобы скакать до рассвета, свободно раскинувшись на горбатой слоновьей спине грациозным сияющим ковшем. Внизу мигали огни села Счастливого. Мы с Сашкой воображали, что это — открытое нами новое созвездие, которое плывет за Большой и Малой Медведицами и однажды плавно взлетит, чтобы тоже оказаться на небе. Дом окружали шпалеры винограда и роз, причудливые дорожки и ступеньки, в каменной кладке стены находился алтарь, из глубины которого смотрел таинственный лик, — происхождение его все уже забыли, и никто не мог объяснить, нам же нравилось думать, что он был там всегда, приехал с камнями и чудесным образом обнаружился при строительстве... В углу двора под раскидистым грецким орехом притулилась сурушка — легкая сварная беседка суру, где располагались низенький

---

Ариадна Радосаф — выпускница УрГУ, филолог, преподаватель, известный сетевой автор. Живет и работает в Екатеринбурге.

стол и лежанки. Мы с сестрой проводили там большую часть дня: играли, рисовали, читали, придумывали себе забавы и приключения, поощряемые отцом и вызывавшие тревогу у матери.

Наша мать Таша была еще молода, но как-то незаметно погрязла в домашнем хозяйстве — соленьях, вареньях и прочей ерунде, вызывавшей у нас максималистское раздражение: казалось, она впустую растрчивает жизнь, тогда как все самое интересное сосредоточено в мастерской отца и не может остаться вне поля его зрения. Конечно, отчасти мы понимали ее — желание служить отцу появлялось уже и у нас, его авторитет был превыше всего, а талант поглощал всеобщее внимание, время и силы. Тогда казалось, что незаметная и незаменимая Таша будет с нами всегда, поэтому ее смерть невероятно изумила нас, а впоследствии разбудила раннее чувство ответственности. Я думаю, с тех пор Сашка начала подсознательно копировать мать, чтобы хоть как-то восполнить отцовскую утрату. Мне было уже четырнадцать, но я так и не смог разобраться, была ли любовь в их недолгой и странной семейной жизни: казалось, отец отдавал все чувства своим холстам, вкладывал в них что-то особенное, колдуя, одушевляя и наделяя портреты подобием мироощущения и отблесками эмоций... Портреты отвечали взаимностью.

Летом во дворе всегда что-то падало: сливы, алыча, созревшая шелковица, оставлявшая на земле чернильные кляксы. То и дело по навесу нашей сурушки глухо стучали плоды, и мы с Сашкой придумывали истории про маленьких человечков, прыгающих с деревьев, — каждый раз у них было какое-то интересное неотложное дело, и мы по мере сил старались участвовать в жизни зеленого древесного народа. Это была одна из любимейших игр, все они тянулись подолгу, как бразильские сериалы, будя фантазию и делая летнюю жизнь полной загадок и увлекательных сюжетов.

Мы обожали отца и оба мечтали тогда об одном — постичь его уникальную личность, но это мало кому было под силу.. Вечный духовный голод, страстная погоня за идеалом отнимали почти все время, неизменно заставляя упускать что-то важное, происходящее в двух шагах. В результате весть о новой женьитбе отца застала нас врасплох.

Собственно говоря, я был к тому времени уже взрослым, и Инна оказалась моей ровесницей. Глядя на нее, я даже стеснялся представить рядом с отцом свою бедную мать, настолько сильно отличалась от нее новая жена — прекрасная и прохладная, как Снежная Королева. Помню, как я смотрел на нее и думал, что, в сущности, отцу очень не повезло в личной жизни: такая женщина не могла дать настоящей любви, как и добрая, хозяйственная Таша. Я обдумывал и анализировал все это, приходя к выводу, что способность оживлять полотна требует от художника немалой, а пожалуй, и непосильной жертвы. Единственным, чего я никогда не предполагал, было наличие в его жизни иных связей, тайных чувств, бушующих страстей и безмолвных страданий.

Жизнь медленно текла, и все персонажи этой нелепой истории шли друг за другом сначала в гору, потом — с горы...

\*\*\*

Лето 2005 года выдалось страшным. Мы совсем недавно отпраздновали его шестидесятилетие. Отец, казалось, был полон сил, только стал вдруг тревожным и мрачным. Он запирался в мастерской и не впускал домашних, а вскоре под запретом оказался для некоторых и весь флигель, где он жил в последнее время. Сашка уже была замужем и переехала в Питер, мы же делили большой дом с Инной, разбредясь по дальним комнатам. Обедали по-прежнему все вместе, на улице или в сурушке, но это были единственные отведенные нам часы — все остальное время он писал, словно старался что-то успеть, оставить таинственный месседж, будто знал, что время уже на исходе.

Он писал прямо на стене флигеля — об этом знал только я, но самой работы не видел, он всякий раз тщательно закрывал ее, отговариваясь неготовностью фрески.

Как-то мы заговорили с ним о Тарковском. Он прочел мне одно стихотворение, и я выслушал все, что он сказал после, хотя мне стоило больших усилий скрыть свою подавленность...

Я прощаюсь со всем, чем когда-то я был,  
С тем, что я презирал, ненавидел, любил.

Начинается новая жизнь для меня,  
И прощаюсь я с кожей вчерашнего дня.

Больше я от себя не желаю вестей  
И прощаюсь с собою до мозга костей,

И уже наконец над собою стою,  
Отделяю посылую душу мою,

В пустоте оставляю себя самого,  
Равнодушно смотрю на себя — на него...

Через месяц ему предстояло перенести тяжелый инсульт и окончательно остаться с собою один на один, начать тот мучительный путь, который каждый проделывает в полном одиночестве...

Здравствуй, здравствуй, моя ледяная броня,  
Здравствуй, хлеб без меня и вино без меня,

Сновидения ночи и бабочки дня,  
Здравствуй, всё без меня и вы все без меня!

Я читаю страницы неписанных книг,  
Слышу круглого яблока круглый язык,

Слышу белого облака белую речь,  
Но ни слова для вас не умею сберечь,

Потому что сосудом скудельным я был.  
И не знаю, зачем сам себя я разбил.

Больше сферы подвижной в руке не держу  
И ни слова без слова я вам не скажу.

А когда-то во мне находили слова  
Люди, рыбы и камни, листва и трава...

Отцу суждено было потерять память и около двух месяцев стоять на краю этого и того света — чтобы потом уйти, так и не придя в сознание, лишь изредка повторяя странное слово «мара», которого никто из нас так тогда не понял... Оказалось, однако же, что он успел завершить земные дела и заранее выразить последнюю волю, которая встряхнула и перетасовала всех нас, как карты в залежавшейся старой колоде...

\*\*\*

— Уничтожить эту гадость... Он оскорбить меня хотел напоследок! Ты пойми, Андрей, я раздавлена... Это безумие в нем говорило, я никак не могу больше объяснить...

— Он рассказывал, что пишет день своей свадьбы, — ну, может, имел в виду не свадьбу, а ваше знакомство... Просто посиделки вечером за столом...

— Посиделки? Да что ты понимаешь... Ты вообще видишь, кто там сидит?

— Конечно, — спокойно сказал я. — Моя мать. Мы с Сашкой. Ты с Джеком. Барсик...

— А это кто в самом центре, с ним рядом? В день нашей свадьбы рядом с ним — другая невеста!

— Инна, ну почему невеста? Может, просто гостя... Смотри, все они явно тебя поздравляют. То ли говорят что-то, то ли поют... И бокалы подняли...

— Андрюшка, ты сам ничего не знаешь. Да и твоей матери уже не было в живых... Что он хотел сказать, а?

— Возможно, то, что Таша не была бы против... Она всегда всем хотела добра как ненормальная, понимаешь?

Я успокаивал Инну, но и сам был в полном недоумении. Рано или поздно кто-то должен был открыть фреску, я сделал это — и понял, что работа вполне закончена. На ней были изображены все мы — за столом во дворе. Мы с Сашкой — еще маленькие, хлопчущая по хозяйству Таша, держащаяся особняком Инна, старый пес, прилегший у ног... Картина не вызывала бы ни малейшего изумления — все дорогие художнику люди, живые и умершие, собраны вместе — ничего странного, особенного... Пес Джек и пушистый кот Барсик, убежавший когда-то на дорогу и попавший под машину... Все это было вполне объяснимо и трогательно, если бы не одна деталь — присутствие незнакомки, сидящей в центре под руку с хозяином дома...

Вообще, фреска была чудесной. Она передавала... Подобрать слово мне удалось не сразу, найденное же — показалось неуместным, не подходящим к ситуации, да и жизни отца в целом... Фреска была полна спокойного, все-таки обретенного семейного счастья. Женщина в центре выглядела живой и прелестной. Ее полупрозрачная шляпка порхала над головой, словно веселая бабочка. Оба они — отец и неизвестная гостя — прислонились друг к другу, как будто нашли наконец опору, таинственный, нарисованный в мечтах остров, где все всегда случается именно так, как нужно, а не наборот...

Я уговаривал Инну не трогать фреску, обещая, что перееду во флигель, уступив ей свою часть дома, и поставлю забор — нечто вроде ширмы, которая закроет изображение от посторонних глаз. Мы никак не могли начать разбирать отцовские бумаги, всячески откладывая то, что должно было бесцеремонно нарушить его право на уединение и скрытую даже от близких частную жизнь...

А потом было оглашено завещание, и мы узнали его последнюю волю.

\*\*\*

Марианна Борисовна появилась ранним погожим утром, но тогда я еще не знал, что это ее особенность — являться к началу чего-нибудь нового, а также — приводить за собой новые времена, этапы, эпохи...

Когда я увидел ее во дворе, то первой мыслью, помнится, было: «Это к отцу». Не знаю, как я это понял, разве по тому только, что передо мною была весьма пожилая женщина, хотя многие заходили к нам из деревни, молодые и старые, а порой забредали дикари-туристы: дом стоял у самой дороги, и некоторые просто интересовались, не сдаются ли на лето свободные комнаты. Оказалось, Марианна Борисовна приехала потому, что ее вызвали на оглашение завещания.

Не буду описывать всю процедуру, эмоции и истерики Инны, недоумение сестры, ее приезд — не с мужем, как ожидалось, а с подругой: оказалось, что муж уже перешел в разряд «бывших», о чем мы не подозревали, но в наступившей суматохе почти проигнорировали этот факт, — мое собственное изумление и неготовность к такому повороту событий... Наша недвижимость была разделена между присутствующими таким образом: большой дом, в трех равных долях, наследовали мы с Инной и Сашкой, флигель же с мастерской, картинами и документами полностью переходил к Марианне Борисовне Чарской, о существовании которой мы доселе не догадывались, если не считать маленькой и неприятной для Инны подсказки: старуха была поразительно похожа на незнакомку с таинственной фрески...

Мы жили теперь в одном дворе. Собственно, для нас мало что изменилось: каждый занимал свою прежнюю комнату, а флигель оставался фактически недостижимым, как и все последние годы. Марианна Борисовна держалась скромно, казалось, она сама мало что понимала в сложившейся ситуации. Мы не терзали ее расспросами, даже Инна на какое-то время притихла и погрузилась в себя — нам всем требовался тайм-аут, чтобы опомниться после смерти отца, привести в порядок нервную систему и сообразить, как и чем жить дальше. В доме установилось, таким образом, шаткое, вынужденное равновесие, поддерживаемое всеми домочадцами, казалось, не знающими, как им теперь быть и что делать. Я работал над сборником рассказов, Инна решила устроиться экскурсоводом и ездила теперь с группами туристов по развалинам генуэзских крепостей и другим крымским достопримечательностям. Сашка с Ириной отдыхали: ходили купаться, лазили по горам, приносили из деревни кефаль, пеленгаса и камбалу с тазик величиной. О том, чем занималась Марианна Борисовна, мы могли только догадываться, украдкой наблюдая за редкими вылазками и передвижениями старухи. Так, она часто ходила гулять к обрыву, туда, откуда открывался лучший в наших окрестностях вид. На краю обрыва громоздился выщербленный, изъеденный временем камень, покрытый кое-где мхом, истомленный солнцем, всегда, даже ночью, горячий и приятный на ощупь. Сбоку на него прилегла причудливая крымская сосна, заломившая ветви и изогнувшая гибкое тело, как юная дьяволица. Рядом с сосной образовалось удобное каменное сиденье, на котором можно было расположиться и наблюдать, как на рассвете небо заливает нежным арбузным соком, как вечером вспыхивает над атласной гладью недолгий пожарный закат. Слушать гортанные крики чаек и мощный, но, словно приличия ради, приглушенный рев развалившегося внизу моря.

Марианна Борисовна подолгу сидела над обрывом, иногда доставала из сумки какие-то записи, блокноты — листала, вчитывалась, нацепив на нос смешные маленькие очки, глядела вдаль, отложив все бумаги и теребя седую пышную прядь. Она до сих пор оставалась красивой. Глаза блестили и слегка улыбались, в них играло морозное, синеватое пламя — иногда мне казалось, что свет действительно лучится, льется наружу и озаряет это невероятно молодое и одухотворенное лицо. Признаюсь, я несколько раз ходил за ней и наблюдал издали, сидя за разросшимся можжевельником, — старуха не замечала меня, да и ничего кругом, думаю, не видела, погружаясь в какие-то неведомые думы, которые мне все больше хотелось разгадать...

Мы все, не сговариваясь, стали называть ее между собой Старухой, наверное, подсознательно выражая свое недовольство отцовским поступком. Больше всех раздражалась, конечно, Инна. В своей туристической фирме она познакомилась с неким красавцем лет тридцати от роду и все чаще проводила с ним время, несколько раз даже приводила домой. Никто из нас ее, конечно, не осуждал — все мы давно выросли... Однако места в большом доме стало катастрофически не хватать. Вскоре красавцу отвели нашу бывшую детскую, гостевая была занята Ириной. Я замечал, что Ирина интересуется мной, а Сашка всячески разжигает и поощряет ее интерес. Однако все эти подводные

течения были так скромны и малозаметны, что мы даже не говорили о них, не спешили обозначить словами легкие веяния, не способные пока оживить нашего существования. Жизнь, казалось, улетела из дома вместе с отцом...

Тем более странным было всеобщее глухое неприятие, молчаливый бойкот, который мы все объявили Марианне Борисовне. Это было тогда единственным сильным чувством, на которое мы неожиданно оказались способны, — поначалу оно сплотило нас, потом разъединило и, ухватив за волосы, как утопленников, поволокло из депрессии обратно в жизнь...

\*\*\*

В тот день я опять пошел за ней к обрыву. Было ветрено. Накануне слегка штормило, и волны до сих пор шли беспокойной грядой, тревожа воображение и вызывая у случайных наблюдателей странный мандраж. Старуха сидела на камне, закутавшись в длинную белую шаль с кистями, и читала толстую тетрадь с растрепанными листами. Шаль идеально облегла ее девичью фигуру, а пушистую седину неистово ласкал ветер. Внезапно один исписанный листок упал, и его тут же потащило к опасному краю. Марианна Борисовна рванулась следом.

Потом я никак не мог объяснить себе, что заставило меня заранее выйти из-за можжевельника и направиться прямо к ней: подходить и заговаривать со Старухой я не собирался. Тем не менее, когда она оступилась, я оказался достаточно близко, чтобы одним прыжком подскочить и схватить ее за руку. Камешки посыпались вниз, ее нога опасно заскользила, но вместе мы удержались и через мгновение уже стояли на безопасном расстоянии от пропасти.

— Доброе утро, — это то, что она сказала мне, едва переведя дыхание. — Вы очень кстати.

Я высунулся и увидел, что улетевший исписанный лист лежит чуть ниже смотровой площадки, запутавшись в траве.

— Сейчас достану.

— О, нет. — Она решительно удержала меня и рассмеялась. — Я успела его прочитать.

— А что это? — Я воспользовался случаем, чтобы хоть что-то узнать.

— Это письма вашего отца. — Она странно посмотрела на меня, потом на тетрадь. — Письма ко мне.

— Но...

— Вы хотите спросить, почему они в тетради?

— Я думал, это дневник.

— Он не собирался их отправлять.

— Почему?

— Любил меня. А я его — нет.

— Вы не любили отца?

— Так, как ему хотелось, — нет. Уважала. Преклонялась, наверное. Но...

— Вы были замужем?

— Была когда-то. Счастливо.

Мы замолчали. Короткий диалог многое прояснил.

— Вы видели фреску? — глупо спросил я, ведь не увидеть того, что находилось на стене флигеля, мог только слепой.

— Видела, — она улыбнулась.

— Он говорил, что это день их с Инной свадьбы...

— Нет, это день нашей свадьбы. Которой не было.

— Вы знали мою мать?

— Нет, Дюша, — она неожиданно назвала меня детским именем, — не знала. Но он рассказывал, как тихо и безмятежно вы жили раньше... У вас, наверное, было счастливое детство... Вы очень похожи на него.

Неожиданно для себя я повернулся и почти бегом кинулся прочь. Чувства бушевали, казалось, еще немного — и я расплачусь. Что это было? Со мной никогда не случалось подобных казусов. Старуха глядела мне вслед. Не оборачиваясь, я знал это, чувствовал кожей ее пронизательный, светящийся взгляд. Я вдруг понял все то, что должен был ощущать мой отец, — его оборвавшаяся жизнь, казалось, проникает в мою, пропитывает меня насквозь, заставляя жить его чувствами, думать его мыслями...

\*\*\*

Мало того что Старуха оказалась красивой, мне вдруг стало ясно, что она невероятно умна, обладает дьявольской интуицией и всем спектром эмоций, какой только можно себе вообразить. С того дня мы стали чем-то вроде заговорщиков: иногда я украдкой заходил во флигель и пил у нее кофе. Она потрясающе готовила кофе и наливала его всегда в одну — мою — чашку, сооружала на поверхности пышную пенку, извлекая ее из турки чайной ложечкой.

Мы разговаривали об отце, о том, как он был одинок с Инной и безмятежен с Ташей, о его работах, мыслях — я убедился в том, что Марианна Борисовна прекрасно знакома с творчеством, да и вообще в курсе духовной жизни этого незаурядного человека — моего отца... Более того, она понимала его гораздо лучше, чем я, и многое умела мне объяснять. Размышляя о своем к ней отношении, я постепенно стал думать, что мне всю жизнь не хватало умной и понимающей матери... Думаю, я обманывался.

Одновременно с этим зрело осознание того факта, что жизнь не может уйти в никуда, — ведь тот сгусток энергии, та светящаяся сфера на ладони, которую неоднократно описывал Тарковский и, казалось, воочию видел мой отец, должна же куда-то переместиться, во что-то перетечь, трансформироваться, прорасти... Мне было страшно от мысли, что единственным новым сосудом для этой божественной сущности могу оказаться именно я... Об одном можно было не волноваться: талант, которым он обладал, не наследовался. Зато мысли, эмоции, ощущения...

Через пару недель я понял, что безнадежно и безответно влюблен в Старуху и понятия не имею, как с этим жить дальше.

\*\*\*

Между тем домашние заняты были своими делами и не замечали, что со мной происходит. Я же, несмотря на внутреннее смятение, вдруг обратил внимание на то, что Инна стала злой и ворчливой, что накопившееся раздражение выплескивается на Старуху чересчур агрессивно, она попросту не могла ее видеть, даже уходила несколько раз в дом, едва заметив, что Марианна Борисовна появляется во дворе.

Общение с красавцем — как оказалось, его звали Саидом — не пошло ей на пользу. Саид был глуп и свято уверен в том, что достоин максимального комфорта в доме женщины, которую осчастливил. Он требовал полного пансиона, Инна же отродясь не умела даже готовить и теперь металась между Ириной и Сашкой, пытаясь чему-нибудь с отвращением научиться, а лучше свалить на них эти неожиданные обязанности. Отказываться от Саида ей пока не хотелось.

— Тебе не кажется, что нам с Саидом можно было бы занять правое крыло? — однажды спросила она меня, когда сестра с подругой ушли купаться.

— Но...

— А они вообще собираются возвращаться в Питер? — выпалила Инна, комкая в руках салфетку. — Или ты вздумаешь еще жениться на этой Ирине?

На этот счет я мог бы ее успокоить, но Инна тут же переметнулась на Старуху, которая заняла флигель и, по всей видимости, не собиралась его покидать.

— Хоть бы она померла, что ли! — в сердцах выпалила моя мачеха и тут же отчаянно покраснела, словно произнесла не запальчивую чушь, а вполне реальное и здоровое предположение. — А что? — Я понял, что ее понесло, но останавливать было поздно. — Ходит каждый день к обрыву, легко и оступиться. Силы не те, ноги не держат... Раз в год там что-нибудь, да происходит...

Через неделю я услышал, как она говорила то же самое Саиду, и пришел в ужас. Глупый Саид мог бы, чего доброго, решить, что такому варианту событий можно с легкостью поспособствовать.

Теперь я ходил за Марианной неотступно, скрываясь по мере сил, хотя необходимости в этом не было никакой — она не смотрела по сторонам, всегда погруженная в какие-то свои мысли. Пару раз я действительно видел поблизости Саида, имевшего, впрочем, глуповато-спокойный вид, но это нисколько не умеряло моих подозрений. Площадка у обрыва имела нехорошую славу. Примерно раз в год там действительно случались странные смерти, несчастные случаи и даже убийства...

Марианна Борисовна продолжала тем временем разбирать бумаги и письма отца. К своим исследованиям она часто привлекала меня, и мы вместе сидели подолгу, пытаюсь понять и связать воедино все отрывочные, разбросанные по дневникам и блокнотам мысли. Мне казалось, что ее отношение к моему отцу слегка изменилось. В нем по-прежнему сквозило уважение и — она нисколько не преувеличила тогда — преклонение перед талантом, но теперь я ловил в ее словах еще и странные ноты сожаления. Она как будто горевала, что нельзя вернуться назад, изменить отношения, которые почему-то не сложились, попробовать начать все заново... Разумеется, о своих чувствах я помалкивал, но чем более проходило времени, тем сильнее увязал в этой дикой и неожиданной страсти: временами мне даже казалось, что ситуация не столь безнадежна, ведь я был Его сыном, а значит... Развивая подобные мысли, я неизменно приходил к выводу, что схожу с ума, что иначе, чем душевной болезнью, объяснить происходящее невозможно.

Никто, кроме меня, не ходил во флигель. Сашка иногда перебрасывалась с Марианной дежурными фразами, Инна же перестала даже здороваться, хотя Старуха была с ней неизменно вежливой и доброжелательной. Сашка становилась все больше похожей на мать — целыми днями она что-то готовила, кормила Саида и остальных домочадцев, собирала персики и инжир, подвязывала какие-то ветки... Ирина, все еще питавшая в отношении меня напрасные надежды, чрезвычайно утомляла ненужными разговорами, но я, досконально изучивший теперь науку несчастной любви, старался быть мягким и терпеливым...

Время нещадно утекало, не предупредив никого из нас, что в песочных часах осталось совсем мало счастливых желтых песчинок и что вскоре стеклянный сосуд будет вновь перевернут.

\*\*\*

Однажды я задумался о том, сколько же ей в самом деле лет, и пришел к неожиданному заключению, что нашей Старухе не может быть более пятидесяти шести — пятидесяти восьми, в то время как самому мне было в то время около сорока. Из всех наших разговоров следовало, что она младше моего отца года на два или четыре, ее лицо было совсем молодым, и лишь абсолютно седые, серебристые волосы вводили всех в заблуждение, заставляя считать Марианну Борисовну глубокой старухой.

Мои умозаключения ничего, впрочем, не меняли. Я не был ей интересен, так же как не был интересен в свое время отец, но лелеял безумную надежду, свойственную всем свихнувшимся на этой почве. Иногда мне казалось, что



во взгляде Марианны загорается интерес, что помимо снисходительности и природного дружелюбия она чувствует ко мне материнскую нежность и искреннюю симпатию. Как-то раз ей случилось подтвердить это. В тот день я был особенно грустным: мы разбирали детские фотографии и наткнулись на дневниковые записи той поры, где, разумеется, нашлись скупые свидетельства нелюбви моих родителей друг к другу, которая, впрочем, компенсировалась искренней дружбой. Потом мы много говорили о судьбе отца (она называла его Володей, и это звучало упоительно интимно) и как-то незаметно перешли к моей собственной жизни. Помню, что в один из моментов я замолчал, чтобы не выпалить всего того, что меня терзало, и тут вдруг ее тонкая и легкая рука накрыла мою ладонь — это было лишь мимолетное дружеское пожатие, но мне показалось, что на меня обрушился Ниагарский водопад.

А потом я поймал тот особенный взгляд. Замечали ли вы, что всякая любовная история начинается обычно с такого взгляда? Одного — отличного от всех прочих, внимательного и пристального, адресованного той голой и незащитной сущности, что сидит внутри каждого из нас? В нем читается все, что было и будет с вами двоими, все, на что вы можете рассчитывать и к чему готовиться. Если бы мы были более внимательными и разумными, то, возможно, большая часть союзов распалась бы в этот самый момент, но, к счастью, мы легкомысленны и самоуверенны. Мы вообще имеем кучу недостатков, что помогает, несмотря ни на что, прыгать с разбегу в ледяную полынью, называемую любовью. Этот взгляд был подобен яростному, быстрому и безумному сексу, единственный раз пробежавшему током по невидимым проводам, что протянулись и опутали нас в тот момент с головы до ног.

В ту ночь мне приснился отец, и он был недоволен мною, за что-то отчитывал, о чем-то просил, звал...

\*\*\*

— Вчера видела во сне Володю.

Она не стала рассказывать сон, а я — расспрашивать. Отец всегда незримо присутствовал с нами во флигеле, он ходил по двору, разговаривал со мной, рассеянно желал доброго утра — так продолжалось с того дня, когда его увезли в морг. Я знал, что мертвые не уходят, — получая доступ *туда*, они продолжают присутствовать *здесь*: очевидно, мы все находимся рядом, и в каждую, самую повседневную и ничемную минуту жизни они ближе к нам, чем мы думаем.

Неужели он стал ревновать? До сих пор я был его единственным реальным мостиком к ней, тропинкой, по которой он мог добрести *оттуда*, чтоб сделать глоток, утолить привычную жажду... Что мне теперь делать, я не имел ни малейшего представления и плыл по воле волн, мечтая стать деревом, чтобы просто любоваться сотворенным кумиром, не имея возможности и надобности что-то предпринимать.

\*\*\*

Как-то утром она пошла погулять, прихватив с собой кружевной зонтик от солнца. Как всегда, присела на горячий камень у обрыва, но на этот раз не читала писем и дневников, просто смотрела вдаль и улыбалась. Ветер был явно неравнодушен к ее серебряной седине — теребил и ерошил, трепал и приглаживал, как влюбленный в свое дело парикмахер.

Я лежал в можжевельных кустах, издали наблюдая за ней, и вдруг увидел, что поодаль за толстым стволом сосны сидит на корточках Саид и тоже смотрит на Марианну Борисовну. Меня он не видел, полагал, видимо, что я остался поработать. Я совсем было хотел уже выйти из укрытия, чтобы

положить конец опасному соседству, как внезапно заметил, что Саид тоже улыбается. Приглядевшись, я был поражен: парень не просто смотрел — он любовался. Посмеивался и скалил ровные зубы, расслабленно опустив руки и привалившись к стволу. Он, который ходил за Старухой, думая об убийстве, любовался ею, потому что она была красива и по-настоящему интересна...

Внезапно издали донесся мужской голос, громко позвавший: «Мара! Мара!» — и маленькая девочка, развернувшись, побежала к отцу, не дойдя нескольких шагов до смотровой площадки.

Марианна Борисовна резко поднялась и испуганно оглянулась, увидела меня, замахала рукой. Синие глаза радостно блеснули, она сделала шаг навстречу, но в следующий момент неожиданно уронила зонтик, легкомысленно ойкнула, оступилась, из-под сандалии брызнули камешки... Мы с Саидом одновременно рванулись к ней что было сил — и не успели...

Потом, когда мы облазили весь берег у воды и выступы скал и уже прибыли спасатели, а мы сидели мокрые с головы до ног и стучали зубами, он все повторял: «Красивый женщина был... красивый...»

Ее нашли на следующий день.

\*\*\*

Провалившись около года в разных медицинских учреждениях, я медленно приходил в себя. В больнице узнал, что Саид бросил Инну и исчез из нашего дома. Вслед за ним исчезла Ирина, о которой я, честно говоря, и не вспомнил бы, если б Сашка не рассказала. Еще через какое-то время Инна вновь вышла замуж и уехала с новым мужем в Европу. Мне тоже хотелось уехать, бросить все к чертовой матери и рвануть отсюда куда глаза глядят. Или утопиться. Я все время собирался это сделать, пока проходил курс лечения, потом вышел из реабилитационного центра и уехал на какое-то время в Питер. Но вскоре вернулся.

Мы жили теперь вдвоем с Сашкой. Я перебрался во флигель и каждый день подходил к фреске и стоял перед ней, задавая отцу один и тот же вопрос. Я спрашивал, почему он забрал к себе ту, которая полюбила не его, а меня, и можно ли уже мне туда, к ним, а если нет, то сколько еще осталось ждать... Отец долго не давал своего согласия, и я удивлялся, что там, где должна существовать только любовь, все еще находится место обиде и ревности... Но, переводя взгляд на молодую, сидящую с ним за столом Мару, переставал удивляться и понуро брел в дом, к их вещам и бумагам...

Я знал, что когда-нибудь он сжалится и позовет меня.